

Глава 5.

Первооткрыватели и творцы

1. Слонёнок

Придавая равное значение сновидениям, ритуалу, речи, социальному взаимодействию и общественному устройству, а не только орудиям как перводвигателям развития древнего человека, я отнюдь не хотел сказать, будто какой-либо из этих аспектов существовал в отрыве от всего круга человеческой деятельности. Ещё менее того склонен я думать, что древний человек удалялся в уединённое место и проводил целые дни, размышляя над своими впечатлениями и заново проживая свои сны, пока наконец из этого всего не рождалась многозначительная пантомима или внятная словесная беседа. В своей интерпретации предназначения языка я лишь принимаю, расставляя акценты в обратном порядке, мнение Кеннета Оукли, большого авторитета в области доисторической техники, который заметил, что медленное усовершенствование «шелльских» орудий, возможно, говорило об отсутствии речи в ту пору.

Эту медлительность, проявлявшуюся во всём до того, как язык наделил непрерывностью и связностью индивидуальный опыт, сделав его передаваемым, хорошо объяснил Леруа-Гуран, заметивший: «Если бы в постепенном обретении основных технических знаний появился малейший разрыв, то все бы пришлось начинать заново». До того, как сформировалась речь, эти разрывы, должно быть, возникали очень часто; а стремление избежать таких попятных шагов, наверное, объясняет ту озабоченность, с которой все культуры, вплоть до настоящего времени, относятся к достижениям предков, боясь их растерять. Традиция была гораздо ценнее изобретений. Удержать и закрепить самый маленький успех значило больше, нежели добиться новых с риском забыть или потерять старые. Это была не ностальгия, а потребность в сохранении доставшихся тяжкой ценой культурных символов, которые заставили человека относиться к прошлому своих предков как к некоей святыне — одновременно слишком ценной и слишком уязвимой, чтобы её можно было с лёгкостью заменить чем-то ещё.

В любом случае даже те усовершенствования, которые мы замечаем в ашельских орудиях — после сотен тысяч лет неуклюжих «шелльских» попыток, — оборачиваются скопищем весьма примитивных изделий, которые обычно весьма легкомысленно принимают за

охотничье оружие. Впрочем, в одной музейной табличке чистосердечно говорится, что «предмет, именуемый оружием, иногда называют киркой, а также сверлом, но, возможно, он служил и колющим оружием, так что его вполне можно определить как кинжал».

Но разве древнейшие люди были преимущественно охотниками? Над этим вопросом следует хорошенько задуматься, если мы хотим должным образом оценить ранний период изготовления орудий. Большинство видов «оружия» древнейшего периода, чаще всего относимые к целям охоты, скорее использовались для собирательства или изготовления ловушек, — ведь одних только этих занятий было бы достаточно для выживания в теплом южном климате даже во время ледникового периода. То, что обычно принимается за ручной топорик или кулачное оружие, оказалось бы весьма полезным для выкапывания клубней или для добывания зверя, попавшегося в западню.

Те, кто придерживается взгляда на древнего человека как на охотника в первую очередь, совершенно забывают о его всеядности, или же не задумываются над тем, откуда бы у него взялась такая любовь к мясу до того, как он научился мастерить оружие из кости, камня или древесины, а также убивать крупных животных без его помощи. Не дают они объяснений и тому, почему во все времена диета человечества оставалась преимущественно вегетарианской.

Даже после того, как Лики продемонстрировал, что современный человек способен сделать с помощью грубых костяных или каменных орудий или, например, видов оружия, приписываемых австралопитекам, отнюдь не стало очевидным, что менее крупное и более слабое существо с небольшим мозгом и с зубами, недостаточно развитыми для пережёвывания сырого мяса, могло бы проделать всё то же самое.

Может быть, всё дело в том, что древний человек жил прежде всего своим умом? С самого начала «мозговитость» поставила его в гораздо более выгодное положение, нежели свирепость или упрямое трудолюбие. Нет почти никакого сомнения, что на самых ранних стадиях своей «охотничьей» карьеры человек был вынужден делать то, что по сей день делают африканские пигмеи, для достижения результатов, впрочем, выходящих далеко за рамки его технического горизонта: придумывать хитроумные ловушки и смелую стратегию — вроде той, что применяют пигмеи при охоте на слонов. Чтобы поймать слона, они прячутся в яме, а когда слон попадает в неё, они атакуют его нежное брюхо оружием, которое держат наготове. Лишь на близком расстоянии, и при столкновении с гораздо более слабым животным, чем слон, так называемое «кулачное оружие» могло оказаться действительно полезнее любого бесформенного камня.

Силки и западни можно было мастерить голыми руками из камышей, ползучих растений или молодых ветвей задолго до появления топора, которым пещерный человек мог бы срубить себе легендарную дубину (оружие, которого никогда никто не находил, и которое ни разу не изображено в первобытной наскальной живописи!) или вырезать деревянное копье из твёрдого ствола живого дерева. В ту пору, когда Колумб открыл Вест-Индию, туземцы там всё ещё делали «западни и ловушки из ползучих лоз и прочие плетёные силки» для ловли оленей.

Возможно, наибольшую пользу остроконечная кирка приносила в качестве копалки — например, когда нужно было добраться до сочных клубней Или вырыть достаточно глубокую яму. Относительно всего этого сооружения ловушек как подготовительной стадии охоты Джулиус Липе собрал немало ценных свидетельств. Аборигены Огненной Земли мастерили силки для птиц; что же касается более крупных ловушек, то они, должно быть, появились гораздо раньше, чем копье с каменными наконечниками или лук со стрелами, хотя, разумеется, от них и не осталось никаких следов, если не считать того, что подобные ловушки стали частью широко распространённой человеческой практики.

Однако сооружение западней, как и строительство гнёзд, — это даже ещё более древнее искусство, известное таким несхожим созданиям, как саррацения и паук. «Многие разновидности оружия первобытной эпохи, вроде ловушек или загонов, — отмечает Дарилл Форд, — применялись в течение длительного времени... Основные типы сетей [охотничьих и рыболовных] и общая техника их изготовления столь широко распространены, что, как и снасти, из которых они мастерились, эти сети, должно быть, являлись одним из древнейших человеческих изобретений». Даже приспособления для того, чтобы опутать и поймать животное с большого расстояния — вроде аркана или лассо, — по-видимому, тоже были изобретены в глубокой древности, так как на всех континентах встречаются такие петли, действующие по одинаковому принципу.

А. М. Хокарт сообщает, что он видел, как «дикарь» сорвал с дерева палку, зубами заострил её конец и стал выкапывать клубни. Сейчас, когда я пишу эту книгу, до меня дошло сообщение из Австралии о некоем ранее не обнаруженном племени — биндибу, — представители которого «при изготовлении орудий используют свои ноги как зажимы и наковальни, а крепко стиснутые челюсти — как тиски и нож одновременно» — и даже расслаивают камни зубами. Кисть руки длительное время служила человеку и чашкой, и лопатой, и мастерком, до изобретения этих предметов. На заре цивилизации на Ближнем Востоке почву разрыхляли киркой, но никаких лопат для выкапывания земли или для её помещения в корзину не найдено (и нигде не изображено).

Что мне хотелось бы подчеркнуть здесь — это количество технических операций, которые человек способен выполнять исключительно с помощью органов собственного тела: он может копать, царапать ногтями, колотить кулаками, перекручивать волокна, прясть нити, ткать, завязывать узлы, сооружать укрытия из сучьев и листьев, плести корзины, делать горшки, лепить из глины, очищать плоды, раскалывать ореховую скорлупу, разрывать зубами волокна или нити, размягчать шкуры жеванием, давить босыми ногами виноград. И хотя со временем для многих этих действий стали успешно применяться более прочные каменные или костяные орудия, они не были изначально необходимы. Там, где удавалось выявить подходящие раковины или пустотелые тыквы, каких-либо иных режущих инструментов или сосудов не появлялось вплоть до середины палеолитического периода.

Вглядываясь с этой точки зрения в архаичные обычаи примитивных народов, обращая особое внимание на черты, получившие всемирное распространение, можно подметить, что многие успешные шаги в технике были и необходимы, и возможны задолго до изобретения и появления соответствующих рукотворных орудий, приспособлений и видов оружия. На самой ранней стадии технического развития изобретательность в использовании органов

собственного тела, без превращения какого-нибудь из них — даже руки — в инструмент с ограниченной функцией, сделало возможным выполнение множества различных действий за сотни тысяч лет до того, как появился хотя бы намёк на сравнимый по эффективности набор специализированных каменных орудий. Как я уже отмечал выше, на раннем этапе пути развития человека как изобретателя и творца великим и первым оформленным творением человека являлся он сам. Пока не появился *Homo sapiens*, ни один обтесанный камешек не являл собой достаточного доказательства его технических способностей.

2. Открытия древних

Собирая пищу, человек одновременно начинал испытывать тягу к сбору сведений. Оба поиска шли бок о бок. Будучи не только любознательным, но и способным к подражанию, человек, скорее всего, научился от паука расставлять сети, от птиц с их гнёздами — плести корзины, от бобров — строить запруды, от кроликов — рыть норы, а от змей — пользоваться ядом. В отличие от представителей большинства биологических видов, человек не колеблясь учился у других существ и копировал их повадки; перенимая их пищевой рацион и способы добычи пропитания, он умножал собственные шансы на выживание. Хотя поначалу он и не строил пчелиных ульев, на одном наскальном изображении показано, как он, подражая медведю (защищённому гораздо лучше, нежели он сам), отваживается собирать мёд.

Следовательно, хозяйство человеческого общества было изначально основано не на охоте, а на собирательстве, и, как указывает Форд, существование человека на девяносто пять процентов зависело именно от ежедневных результатов собирательства. В таких условиях находили применение и проходили испытание исключительная любознательность древнего человека, его находчивость, способность к обучению и цепкая память. Постоянно что-нибудь подбирая и выбирая, опознавая, пробуя и изучая, присматривая за потомством и заботясь о сородичах, человек развивал свой интеллект гораздо успешнее, чем если бы он только и делал, что изготавливал орудия.

Опять-таки чрезмерный упор на сохранившиеся материальные свидетельства — каменные орудия — привёл к тому, что в большинстве исследований недооценивалась роль органических ресурсов в доисторическом арсенале оснащения, хотя именно они, вероятно, вносили наиболее важный вклад в развитие древней техники. Боясь впасть в слишком вольные спекуляции, многие трезвомыслящие учёные возвели вокруг себя настоящую каменную стену, за которой скрываются многие важные сведения (о них лучше не гадать попусту) о характере и привычках древнего человека. Тот тип «дикаря», в котором они усматривают *Homo faber*'а — «человека-делателя-орудий», — появился довольно поздно. Перед ним — даже если обойти вниманием или вовсе отбросить особую роль речи — стоит «человек-искатель», который, прежде чем всерьёз взяться за конструктивную деятельность, изучил планету, а прежде чем начать истощать запас земных даров, нашёл и приукрасил самого себя.

Древний человек в его самопоглощённости, возможно, чересчур часто погружался в сладкие мечты, но и томился кошмарами; и вполне вероятно, что последние опасно учащались по

мере того, как продолжал развиваться его ум. Однако с самого начала его спасал от малейшей склонности к оцепенелому приспособлению к условиям жизни тот факт, что он был прежде всего «длинноносый» животным, а именно: без усталости исследовал все части своего окружения, начиная с ближайшей — собственного тела. Он вынюхивал и пробовал на вкус, искал и тщательно осматривал, сравнивал и выбирал. Все эти черты ненасытного человеческого любопытства с юмором обыграл Киплинг в своей сказке о слонёнке, которому вытянули нос.

Большинство наших сегодняшних определений разума основываются на понятиях о разрешении трудностей и созидательной деятельности, более или менее обусловленных обретенной способностью к абстрактному мышлению, которая появляется лишь одновременно с использованием языка. Однако мы упускаем из виду другое проявление умственных усилий, общее для всех животных, но, вероятно, наиболее всего свойственное человеку — это способность запоминать и распознавать разные характерные формы в нашем окружении: быстро уловить отличия между лягушкой и жабой, выявить съедобный гриб и не спутать его с ядовитым. В области науки это вылилось в обширную таксономическую работу: правда, древнего человека вынудили сделаться внимательным таксономистом суровые требования повседневного существования. Должно быть, он совершил множество ценнейших наблюдений и накопил много полезных познаний ещё до того, как придумал слова, которые впоследствии помогали сохранять эти познания в памяти ради дальнейших целей. Как показал Адольф Портман, тесный и полный понимания контакт с природным окружением приносит совсем иные плоды, нежели разумное манипулирование им, — однако не менее важные.

Распознавание существующих форм как неперемнная составляющая исследования среды стимулировала пробуждение в человеке живейшего разума.

В действительности, имеются все основания полагать, что человек перепробовал огромное количество разных видов пищи — гораздо больше, чем какой-либо другой биологический вид, — ещё до того, как изобрёл какие-нибудь подходящие орудия. Пока в науке преобладал образ древнего человека-охотника, значение его всеядности чаще всего недооценивали. С течением времени его ботанический словарь обогащался названиями ядов и лекарств, причём порой источником таких сведений могли служить твари вроде той ядовитой гусеницы, которую употребляют в пищу африканские бушмены — и которую никакому современному человеку просто не пришло бы в голову пробовать на вкус.

Совершенно прав был ботаник Оукс Эймс, предположивший, что если древний человек уже обладал значительными ботаническими познаниями, почерпнутыми у родственных ему приматов и гоми-нидов (например, горилла поедает более двух десятков видов растений), то он изрядно пополнил их, не только используя корни, стебли, орехи, или отвратительные на вкус или токсичные в сыром виде, но и экспериментируя с теми свойствами трав, которых другие животные, видимо, «инстинктивно» избегают. Два слова, которые почти первыми произносят дети австралийских аборигенов, — это «съедобное» и «несъедобное».

К сожалению, мы едва ли отваживаемся гадать, в какой степени познания, накопленные человеком к концу палеолитической эпохи, достигли того состояния, которое наблюдается у

сегодняшних примитивных народов. Может быть, уже мадленские охотники следовали бушменской практике, смазывая наконечники стрел сильными или слабыми ядами, добытыми из амариллиса, скорпиона, паука или змеиных жал, в зависимости от размера и мощи намеченной жертвы? Вполне вероятно. Однако такого рода наблюдения, относящиеся равным образом и к первобытной медицине, способствовали появлению науки, и, пожалуй, не будет ошибкой предположить, что на их накопление у человека ушло не меньше, если не гораздо больше, времени, нежели на обретение самого языка.

Что мне хотелось бы особо выделить среди всех этих смутных, но несомненных свидетельств, — это сквозящая в них невероятная разборчивость, пронизательность и изобретательность — равная той, что проявлялась в эволюции ритуала и языка, и намного превосходящая ту, что до наступления позднепалеолитической культуры находила применение в изготовлении орудий. Поначалу единственными животными, входившими в рацион древнего человека, были лишь маленькие существа вроде грызунов, черепах, лягушек, насекомых, которых можно было поймать голыми руками, как их до сих пор ловят в пустыне Калахари или в австралийском буше маленькие примитивные племена, пользующиеся лишь скудным набором палеолитических орудий — камней, дротиков и луков, к которым позднее добавились духовые ружья и бумеранги. Со временем первобытный человек стал убивать более крупную дичь, как на то указывают многочисленные находки костей в пещерах в самых разных уголках света; но разумнее предположить, что зверей загоняли в западню или ловушку, а не убивали на охоте. Отсутствие эффективного оружия могли возместить лишь более высокая общественная организация и продуманная хитрость.

Если «диета» древнего человека и не могла похвастаться изобилием — пожалуй, за исключением обитателей тропических краёв, — то зато он отличался разнообразием благодаря его настойчивым экспериментам. Однако новые виды пищи приносили пользу не только телу: постоянная привычка выискивать, пробовать, отбирать, опознавать и, главное, замечать результаты (порой это могли быть судороги, болезнь, ранняя смерть и тому подобное) — имела, я повторяю, более важное значение для умственного развития человека, чем долгие века высекания кремней или охоты на крупную дичь. Подобные поиски и эксперименты требовали значительной двигательной активности; и это пытлиное добывание пищи, наряду с танцем и ритуалом, заслуживает более высокой оценки с точки зрения его влияния на развитие человека.

Теперь я приведу конкретный пример того, как развивался ум человека задолго до того, как у него появился достаточный набор орудий или материального снаряжения, сравнимый с арсеналом ориньякских охотников. Превосходное описание действительно примитивного хозяйства, почти лишённого каких бы то ни было следов позднейшей культуры, за исключением языка и традиции, можно найти в рассказе Элизабет Маршалл о бушменах из пустыни Калахари.

В засушливое время года, когда каждая капля воды на вес золота, бушмены собирают растение под названием «би», имеющее водянистый волокнистый корень, и приносят его в «верф» — нору, служащую жилищем, пока солнце ещё не стало жарким. Корневища скоблят, из получившейся массы выжимают сок и выпивают его. Потом они выкапывают себе неглубокие ямки в тени. Они мочатся на выжимки, оставшиеся от «би», и выстилают

этой влажной кашицей ямы, а затем ложатся в них и проводят там целый день, давая влаге, испаряющейся из мочи, сохранять их тела влажными. Для этой процедуры, за исключением скобления корней, не нужно никаких орудий; однако подобная догадливость относительно причинного механизма и сезонная наблюдательность, обнаруживаемая в такой спасительной для жизни рутине, говорит о необычной смекалке. Стратегия выживания была здесь выработана благодаря пристальному наблюдению за таким отнюдь не очевидным процессом, как испарение, и использованию всех подручных материалов, в том числе жидкости из собственного тела.

Здесь мы видим в действии три качества ума, которые были неотъемлемы от процесса развития языка, а также от приспособления к окружающей среде: это способность узнавать, способность различать и умение догадываться о причинах вещей. Последнее качество, которое западный человек чересчур часто почитал собственной особенной заслугой, причём весьма недавней, никак не могло отсутствовать у первобытных людей: если древний человек в чём-то и ошибался, то скорее в том, что преувеличивал или неверно усматривал роль причинности, приписывая и случайные события, и самостоятельные органические процессы — например, болезнь, — намеренному вмешательству злых людей или духов.

В отличие от позднейших охотничьих культур, которые были основаны на преследовании кочующих стад бизонов или северных оленей, народы, в более раннюю эпоху занимавшиеся собирательством, должно быть, вели сравнительно оседлый образ жизни: ведь такое существование требует подробного знания своей среды обитания на протяжении всего круга времён года, а также проверенного опытом знания свойств различных растений, насекомых, мелких зверей, птиц, которого можно достичь, лишь изучая из поколения в поколение достаточно небольшой регион, чтобы стал знаком каждый его потайной уголок. Современный пример подлинно первобытного человека — это не Кожаный Чулок, а Торо.

Такого рода дотошные знания, добывавшиеся путём подобных пытливых поисков, должно быть несли большие утраты до возникновения языка. Но задолго до того, как появился намёк хотя бы на грубейшую форму одомашнивания, человек уже вооружился энциклопедическими познаниями о содержимом своего природного окружения: у каких растений съедобные семена или плоды, у каких питательные корни или листья, какие орехи следует выщелачивать или поджаривать, какие насекомые вкусные, какие волокна прочные, и тысячи прочих маленьких открытий, от которых зависела человеческая жизнь.

Все эти открытия знаменуют не просто привычку любознательности, но и способность к абстракциям и качественным оценкам. Судя по более поздним свидетельствам, некоторые из таких знаний были совершенно самодостаточны и не имели ничего общего с обеспечением физического выживания. Леви-Стросс ссылается на одного исследователя, изучавшего быт индейцев племени пенобскот, который обнаружил, что они располагают точнейшими знаниями о пресмыкающихся, хотя никак ими не пользуются (кроме тех редких случаев, когда им нужны заговоры от болезней или чародейства).

Если мы будем упорствовать во мнении, что на протяжении всего раннего периода существования человека основным источником его пропитания была охота, а главным его занятием — обработка орудий, то тогда представляется, что культурный прогресс человека

происходил непостижимо медленно, ибо, по сути, и для изготовления изысканных солютрейских, и для высекания грубых ашельских орудий требовался один и тот же процесс: камень ударял о камень.

Эту черепашую скорость всегда отчасти скрывала обычная практика хранения палеолитических орудий и оружия в музеях, где разделяющие их отрезки времени как будто сплющиваются, так что создаётся впечатление, будто за сравнительно короткий промежуток совершались значительные скачки вперёд. Если бы каждый фут такого музейного пространства обозначал год, то эти последовательные «шаги» вытянулись бы на расстояние примерно в девяносто миль, из которых лишь последние пять или десять миль знаменовали бы период быстрого продвижения. Однако если согласиться с предположением, что орудия впервые начали изготавливать австралопитеки, то тогда скорость этого продвижения окажется втрое ниже, а эффект от «вынужденной избирательности» (согласно которой мозг якобы стал развиваться благодаря изготовлению орудий) оказался бы ещё более сомнительным.

Чего недостаёт этой привычной закоснелой модели — так это тех знаний, той искусности и ловкости, которые человек, в глубокой древности начав исследовать свою среду, передавал из поколения в поколение собственным примером. Возможно, именно его активное собирательство, для которого почти не требуется орудий, может отчасти объяснить, почему они так медленно совершенствовались. Как указывает Дарилл Форд, лучшими вспомогательными (и длительное время — единственными) орудиями человека служили шесты — «для стряхивания плодов на землю, для выманивания крабов или моллюсков из-под камней, для выкапывания подземных тварей».

Вместе с тем, непрерывные исследования и интенсивная эксплуатация небольшой территории, должно быть, благоприятствовали не только пополнению знаний, но и стабильности семейной жизни; а при таких условиях человек, лучше заботясь о потомстве, мог надеяться, что накопленные им знания будут твёрже усвоены путём подражания. Дарвина удивила в примитивных народах их изощрённая мимикрия: они поразительно точно повторяли новые слова и телодвижения, выказывая необычайную цепкость памяти. По-видимому, эти черты говорят о некоей непрерывной преемственности в рамках одного ареала. Поэтому есть основания поддержать гипотезу Карла Сауэра о том, что палеолитический человек являлся главным образом не кочевником, а населявшим одну территорию, привязанным к семье, воспитывавшим детей, оседлым существом; что он по привычке собирал и накапливал всё необходимое для жизни, и, как правило, с переменой сезонов передвигался с открытых мест или прерий в леса, с низин долины на склоны гор.

Подобный образ жизни мог бы послужить достаточным объяснением того (если моя изначальная гипотеза верна), что древний человек уделял столько внимания ритуалу и языку. «Историческая традиция, — заметил философ Уайтхед, — передаётся прямым опытом физической среды обитания», — разумеется, если это окружение остаётся неизменным и устойчивым. В таких условиях материальные приобретения должны были оставаться незначительными, зато приобретения нематериальные, не оставившие видимых следов, могли быть чрезвычайно важными.

С одной стороны, первоначальный метод человека добывать пропитание собирательством и заготовкой запасов, казалось бы, представлял собой безысходно тягостный, тревожный и не имеющий никакого отношения к культуре способ существования. Вместе с тем, он приносил подлинное вознаграждение и оставлял глубокий след в человеческой жизни; ибо, в силу самих условий своего существования, собиратель «прочёсывал» своё ближайшее природное окружение гораздо основательнее, чем это делалось потом — вплоть до XIX века. И если он часто сталкивался со скупостью и суровостью природы, то он знал и кое-что о её разносторонней щедрости, когда средства к жизни удавалось добыть без предварительных замыслов и нередко без особых мускульных усилий.

Собирательство и заготовка запасов шли рука об руку; а некоторые из древнейших находок в пещерах свидетельствуют о том, что первобытный человек хранил там не просто провизию или мертвецов. В пещерах, которые населял пекинский человек, находили камни, попавшие туда из весьма далёких краёв, но не имевшие сколько-нибудь явного предназначения. А Леруа-Гуран замечает, что в культурных слоях, относящихся к перигорскому периоду, дважды находили куски свинца: они были отобраны, как и позднейшие простые и драгоценные камни, за их блестящую поверхность и кубическую кристаллическую структуру.

Эти первые попытки покорить окружение (хотя они и выглядят тщетными, если искать их видимых результатов) наложили отпечаток на все последующие достижения в культуре, пусть даже точной связи между ними и нельзя установить. По этому поводу я могу вновь привести слова Оукса Эймса: «Когда мы изучаем хитроумные методы обработки некоторых растений, призванных нарушить однообразие жизни, становится совершенно очевидно, что первобытному человеку открывались свойства съедобных и наркотических растений отнюдь не благодаря случайности. Должно быть, он был зорким наблюдателем, раз постепенно обнаружил процесс брожения, воздействие и местонахождение алкалоидов и токсичных смол, а также додумался обжаривать или прокалывать продукты, чтобы добиться от него желаемого наркотического эффекта или приятного аромата (кофе). Цивилизация чрезвычайно многим обязана брожению и огню». Но прежде чем люди смогли передавать познания с помощью языка, не говоря уже о письменной традиции, — возможно, порой уходило около тысячи лет на то, чтобы закрепить одно-единственное достижение.

Итак, эта подготовительная стадия разведки и собирательства явилась прелюдией к более поздним искусствам сельского хозяйства и обработки металла; такое коллекционирование продолжается и поныне, затрагивая разнообразные предметы — от почтовых марок и монет до оружия и костей, книг и живописных полотен. А в качестве венца этого древнейшего проявления человеческой культуры нам пришлось создать особое заведение — музей — для хранения подобных коллекций. Из этого можно было бы сделать вывод, что основы потребительского общества были заложены задолго до появления общества изобилия. Но если пороками собирательского хозяйства были накопительство и скарденность, скрытность и алчность, в более благоприятных условиях оно приносило чудесное чувство облегчения, когда почти все человеческие потребности удовлетворялись немедленно, безо всяких побочных приготовлений и мучительных физических усилий, с которыми сопряжена даже охота.

Возможно, именно с тех далёких времён собирательского хозяйства человечество по сей день преследуют мечты о сверхизобилии, достигаемом без труда — мечты, которые быстро сбываются для тех, кто отправляется собирать ягоды, грибы или цветы. Этим даров леса так много, что их всегда остаётся в избытке, и можно вернуться за ними вновь. Эти долгие часы, проводимые под лучами солнца, обладают невинным очарованием, поспорить с которым (впрочем, уже не столь невинно) может разве что удовольствие золотоискателя или добытчика алмазов. Эта старая как мир страсть обнаруживается и на более продвинутом уровне. Притягательность гигантских супермаркетов в глазах нынешнего поколения можно частично объяснить тем, что они являют механические подобию стародавнего Эдема — до того мига, пока не приближаешься к кассе.

Однако, подчёркивая, что для древнего человека было важнее находить, нежели делать, и собирать, нежели охотиться, было бы ошибкой утверждать что главным его способом добычи пропитания являлось собирательство, а не охота, как считалось раньше. «Человек по своей природе всеяден, — справедливо напоминает нам Дарилл Форд, — и потому никогда не существовало в чистом виде собирателей колосьев, охотников или рыболовов». Древний человек никогда не ограничивался одним-единственным источником пищи или одним-единственным образом жизни: он расселился по всей планете и испробовал жизнь в совершенно несхожих условиях, изведав плохое и хорошее, суровый и умеренный климат, ледяную стужу и тропический жар. Его приспособляемость, отказ от специализации, его готовность находить множество решений для какой-то одной проблемы животного существования, — вот был ключ к его спасению.

3. Технический нарциссизм

Отталкиваясь от забот нашей собственной необыкновенно продуктивной — и в то же время чудовищно расточительной и разрушительной — эпохи, мы порой незаслуженно приписываем древнему человеку львиную долю наших собственных алчности и агрессивности. Слишком часто мы высокомерно представляем себе, будто отдельные группки людей раннего каменного века вступали в отчаянную борьбу за выживание, в яростные столкновения с другими, столь же несчастными и дикими, существами.

Заметив, что некогда переживший расцвет неандерталец вымер, даже некоторые весьма сведущие антропологи чересчур поспешно сделали вывод, что его истребил *Homo sapiens*, хотя за отсутствием свидетельств они могли бы, по крайней мере, допустить, что виной тому могла оказаться вспышка какой-нибудь новой болезни, вулканическая активность, истощение запасов пищи или же упорная неприспособляемость к каким-то условиям жизни.

Вплоть до сравнительно позднего палеолита почти ничего не указывало на то, что человек мог по крайней мере потягаться с пчелой в переустройстве своего непосредственного окружения, хотя, быть может, у него уже имелся символический дом — вроде норы африканских бушменов, так называемого «верфа», или перекрещённых палок сомалийских племён. Наверное, в этих сооружениях воплотились его самые ранние идеи — прежде чем он сделал первую землянку, или выложил первый глиняный очаг, или стал строить «дома» с двускатной кровлей, прообраз которых был обнаружен в «крышеобразных» рисунках на

стенах мадленских пещер.

Однако была одна область помимо языка, где находили применение все те черты, которые я выискивал и оценивал: находки в древних пещерах свидетельствуют о том, что одним из феноменов, которые человек изучал наиболее усердно и использовал совершенно виртуозно, было его собственное тело. Как это было и с даром языков, оно не только являлось самой доступным элементом среды, но и постоянно зачаровывало человека, который охотно экспериментировал с ним, добиваясь коренных, хотя и не всегда здоровых, перемен. Хотя греческий миф и предвосхитил открытие современного психолога, согласно которому в отрочестве человек влюбляется в собственный образ (нарциссизм), древний человек, как ни странно, любил этот образ не ради него самого: он скорее рассматривал его как сырьё для собственных особенных «усовершенствований», которые помогли бы ему изменить свою природу и дать выразиться своему другому «Я». Можно сказать, человек стремился исправить свой телесный облик раньше, чем он узнал, как он, собственно, выглядит.

Такая склонность, возможно, восходит к широко распространённой привычке животных всячески охорашиваться, особенно наглядно проявляющейся у обезьян. Без этого стойкого «косметического» инстинкта, когда вылизывание и поиск блох почти неотделимы от взаимных ласк, ранняя социальная жизнь человека была бы значительно беднее; в самом деле, без такого тщательного ухода длинные волосы на голове и лице у людей многих рас превратились бы в спутанный клубок, грязный, кишачий паразитами и лезущий в глаза. Когда поймали одичавшую индийскую девочку Камалу, то из-за гротескно разросшейся шевелюры она больше походила на зверя, чем опекавшие её волки.

Из универсальности орнаментов, косметики, украшения для тела, масок, костюмов, париков, татуировок, надрезов, бытовавших у всех народов вплоть до настоящего времени, можно сделать вывод, что (как я заметил выше) такая воздействующая на характер практика возникла в глубокой древности, и что голое, нераскрашенное, недеформированное, лишённое украшений человеческое тело следует рассматривать или как чрезвычайно раннее явление, или как чрезвычайно позднее и редкое культурное достижение.

Судя по наблюдениям за нынешними примитивными людьми (а это наши собственные маленькие дети или те немногочисленные первобытные племена, что в большинстве случаев продолжали жить в каменном веке, когда их обнаружил западный человек), не было ни одной телесной функции, которая бы на ранней стадии не вызывала любопытства и не пробуждала тяги к экспериментам. Древний человек взирал с почтением, часто даже со страхом, на всяческие телесные истечения и выделения — не только на кровь, которая, безостановочно вытекая, могла положить конец жизни, но и на послед и «сорочку» новорождённого, а также на мочу, испражнения, семя и менструальные выделения. Все эти явления вызывали или изумление, или страх и потому в каком-то смысле считались священными; а сам воздух, который человек выдыхал, в конце концов стал отождествляться с высоким проявлением жизни — с душой.

Такого рода инфантильный интерес, который и сегодня испытывают некоторые взрослые люди с различными нервными расстройствами, должно быть, заполнял определённую часть

досуга первобытного человека, если полностью принять во внимание те многочисленные следы, которые он оставил в нашей культуре. Со временем подобный интерес к продуктам собственной жизнедеятельности мог порой приносить практическую пользу: так произошло с мочой, которую бушмены по сей день используют для дубления кож — точно так же, как древнеримские металлоплавильщики смешивали мочу с сукновальной глиной. Крёбер замечает, что совокупность подобных черт знаменует «отсталость по сравнению с передовыми культурами», но это не мешало ему написать, что через несколько лет писатели и художники так называемых «передовых западных культур» начнут заявлять о своей разобщённости, снова забарахтавшись в таком инфантильном символизме.

В не меньшей степени, чем функции и выделения человеческого тела, пробуждало ранний интерес и стремление к модификациям и само его строение. Подрезание, завивка, заплетание или склеивание волос, удаление крайней плоти, прокалывание пениса, отсечение мошонки, даже трепанация черепа, — таковы были результаты многочисленных замысловатых экспериментов, которые человек проводил над самим собой (возможно, под влиянием магических наваждений), задолго до того, как он стал состригать шерсть с овечьих спин или кастрацией превращать свирепого быка в послушного вола в ходе религиозной церемонии, где животное, скорее всего, служило заменой человеческой жертвы.

На первый взгляд, большинство этих экспериментов подпадают под понятие «Brotlose Künste» [13], как моя бабушка обычно отзывалась о подобных не приносящих вознаграждения занятиях. Однако они обнаруживают некоторое сходство с проявлениями «праздного любопытства», в котором Торстейн Веблен видел вернейший признак научного интереса, или с ещё более поразительными примерами «праздного экспериментаторства», встречающегося во многих современных биологических лабораториях: так, например, заживо свежуют собак, чтобы убедиться, какие физиологические перемены происходят под воздействием шока. Первобытный человек, менее цивилизованный, но, пожалуй, и более гуманный, довольствовался лишь собственным телом для проведения самых дьявольских пыток; и некоторые из практиковавшихся им увечий оказались далеко не бесполезными.

Трудно сказать, что именно побуждало человека экспериментировать с собственным телом. Многие из этих примитивных телесных преобразований требовали сложного и болезненного хирургического вмешательства, а зачастую, учитывая вероятность инфекции, были весьма опасными. Между тем, согласно сообщению аббата Анри Брейля, исследовавшего пещеру в Абасете в Испании, древний человек практиковал и татуировку, и надрезы, и манипуляции над половыми органами. Более того, многие такие хирургические операции не только деформировали тело, но и снижали его способности: примером тому служит относящийся к периоду позднего плейстоцена череп негра с выбитыми верхними резцами; должно быть, это добровольно перенесённое увечье сильно мешало жевать пищу. Жестокая практика подобных самоистязаний до сих пор распространена не в одном примитивном племени.

Представляется уместным вывод, что первая атака первобытного человека на своё «окружение» была, вероятно, «атакой» на собственное тело; и его первые попытки добиться магического могущества были направлены на себя самого. В и без того достаточно суровых жизненных условиях человек ещё больше закалял себя подобными гротескными

«косметическими» пытками. Шла ли речь об украшении или хирургии, ни одна из этих операций не оказывала прямого влияния на физическое выживание. Скорее, они свидетельствуют об одной ещё более глубокой склонности человека, а именно — навязывать природе собственные условия, сколь бы неприемлемы они ни были. Вместе с тем, что более важно, они указывают и на сознательное стремление к самообладанию, самовыражению и даже — пусть зачастую это принимало извращённую, иррациональную форму — самосовершенствованию.

Не следует, однако, оставлять без внимания техническую сторону перемены или украшения телесного обличья. Возможно, переход от чисто символического ритуала к эффективной технике стал возможным благодаря хирургии и орнаментации тела. Надрезы, удаление зубов, раскрашивание кожи, не говоря уже о позднейшей более сложной практике татуировки, расширения губ, растягивания ушей и удлинения черепа, стали первыми шагами человека на пути к освобождению от самодовольного животного существования, которое обеспечила ему природа. Такому повышенному вниманию к собственной персоне едва ли удивятся наши современники — и уж тем более, не будут им шокированы. Несмотря на нашу привязанность к разного рода машинам, в странах с высокоразвитой техникой на косметику, духи, причёски и косметические операции, тратиться не меньше средств, чем на образование; кстати, ещё в сравнительно недавние времена цирюльник был «по совместительству» и хирургом.

Однако каким-то странным, до сих пор не совсем понятным образом, искусство украшения тела, пожалуй, способствовало становлению человеческой личности. Ибо оно сопровождалось пробуждением сознания внешней красоты, которое мы находим разве что в горделивом красочном оперении птицы шалашника. Капитан Кук подметил в жителях огненной земли следующее: «Хотя они не знают одежды, видно, что им очень хочется выглядеть красивыми. Их лица изрисованы разнообразными узорами; глаз чаще всего обведен белой краской, а остальную часть лица испещряют горизонтальные полосы красной и чёрной красок. При этом едва ли найдутся хотя бы два совершенно одинаковых лица... И мужчины, и женщины носили браслеты, сделанные ими из морских раковин или костей».

Никогда ещё мы так не уверяемся в присутствии существа, которое мыслит и действует так же, как мы сами, чем когда мы находим рядом с его скелетом (даже когда нет и намёка на орудия) первые ожерелья из зубов или ракушек. И если заняться поисками прообраза колеса, то мы обнаружим его древнейшие очертания не в устройстве трута и не в гончарном круге, а в полых кольцах, вырезанных из слоновьих бивней, — находках ориньякского периода. И весьма примечательно, что три наиболее важных компонента современной техники: медь, железо и стекло — использовались в качестве материала для бус (возможно, это связывалось с магическими представлениями) за тысячи лет до того, как им нашли промышленное применение. Так, если железный век начался приблизительно в 1400 году до новой эры, то железные бусы встречаются ещё среди находок, относящихся к периоду до 3 000 года до новой эры.

Так же, как язык и ритуал, украшение тела явилось попыткой утвердить человеческую личность, человеческую значимость, человеческие цели. Без этого все прочие поступки и труды совершались бы впустую.

4. Камень и охотник

Ледниковый период, который геологи называют плейстоценом, охватил последний миллион лет и покрыл значительную часть северного полушария льдом. Четыре долгих холодных периода чередовались с более короткими промежутками умеренного климата — более тёплого, влажного и облачного. Под давлением столь сурового влияния среды древний человек сам творил свой облик, совершенствуя своё анатомическое сложение, благодаря чему научился ходить на двух ногах, разговаривать и делать разные предметы своими руками, а самое главное — заставляя все эти умения приносить пользу уже более социализированной и очеловеченной личности.

Выживание человека у самой границы ледяного покрова — «близ гибельных зубов» — говорит и о его упорной выносливости, и о его приспособляемости. Судя по имеющимся свидетельствам, человек стал добывать огонь и охотиться примерно пятьсот тысяч лет назад, а изготавливать орудия — наверное, несколько позже. Каковы бы ни были унаследованные от предков недостатки человека, он был по крайней мере весьма закалённым существом. Для многих животных такие климатические условия оказывались суровыми. Некоторые, вроде мамонта и носорога, преодолевали их, обрастая густой шерстью; сам же человек, достаточно преуспев в охоте, не просто защищал своё тело мохнатыми звериными шкурами, но даже сшивал их в более или менее облегчающие одежды типа эскимосских.

На конечной стадии обледенения, начавшейся около ста тысяч лет назад, географические горизонты сузились, зато человеческие — расширились. Здесь весьма уместно привести мнение А. Дж. Тойнби о том, что суровые условия существования мобилизуют и укрепляют человеческие возможности, тогда как более лёгкая жизнь в тропическом климате этого не требует. В этот-то период и появился новый мутант первобытного человека — *Homo sapiens*. Он шагнул вперёд во всех областях культуры, дальше, чем его предшественники за промежуток времени, вдесятеро превышающий срок его существования, — быть может, только оттого, что последние шаги всегда оказываются самыми лёгкими.

Довольно высокая скорость человеческого прогресса в течение периода, когда физические условия существования, вплоть до 10 000 года до новой эры, зачастую были просто чудовищными, указывает, по-видимому, на два фактора: дальнейшие генетические и социальные изменения, благоприятствовавшие развитию интеллекта, и значительный успех в символотворчестве в речи и образном мышлении, позволивший передавать приобретённые привычки и знания более эффективно, чем это происходило когда-либо раньше. Обоим этим факторам имеются многочисленные свидетельства в наскальных рисунках, впервые обнаруженных сто с лишним лет назад в пещерах на территории Франции и Испании. Эти находки помогли целиком пересмотреть представления о древнем человеке; однако эти древние изображения его грубого существования столь неподвижны, что по сей день выражение «пещерный человек» быстрее всего ассоциируется у многих со словом «дубинка».

Вплоть до этой фазы, по всей видимости, в первобытном обществе не существовало чёткого разделения труда, а потому не возникало чисто профессиональных побуждений совершенствовать каменные орудия; так что те усовершенствования, которые заслуживают внимания, следует измерять отрезками уже не в десять, а в пятьдесят тысяч лет. Согласно Брейдвуду, начиная с середины плейстоцена намечается чёткая стандартизация по крайней мере тесаных орудий. Это говорит о том, что «у людей появились понятие об идеальной стандартной форме, подходящей для выполнения какой-то особой работы, и они научились точно воспроизводить её». Брейдвуд справедливо считает, что это подразумевает наличие у человека двух способностей: во-первых, предвидеть будущую потребность в данных орудиях, и во-вторых, символотворчество, благодаря которому видимое и слышимое это соотносится с невидимым тем.

Это самое общее суждение, которое можно вынести относительно древнейших технических свершений человека. Те же грубые формы, что типичны для ашельской культуры, продолжали применяться ещё двести тысяч лет; между тем, несколько улучшенные орудия сменившей её леваллуазской стадии просуществовали почти столь же долго — в сорок раз дольше, нежели длился весь период документированной человеческой истории. Даже неандертальцев, которые уже имели крупную черепную коробку и погребали мертвецов около пятидесяти тысяч (или больше) лет назад, нельзя обвинить в том, что они двигались вперёд семимильными шагами.

Однако приблизительно тридцать тысяч лет назад этот временной масштаб меняется. Хотя новые находки, быть может, внесут поправки в эти предварительные датировки, наблюдается следующая картина: одна чётко определяемая культура сменяет другую через интервалы от трёх до пяти тысяч лет; это чрезвычайно короткие промежутки в сравнении с предшествующими фазами. Холод этой последней стадии ледникового периода привёл к суровым изменениям в жизни растений и животных северного полушария: сезон, благоприятный для роста, стал таким же коротким, каков он сегодня вблизи арктического круга; и перед первобытными общинами, зависевшими главным образом от собирательства, встал выбор: либо переселиться в более тёплые края, либо переменить образ жизни и начать промысел крупных стадных животных, которые тоже проявили стойкость к климатическим переменам.

Под давлением таких обстоятельств человек быстро достиг успехов в изготовлении орудий; он начал добывать камень в карьерах и даже разрабатывать копи; а заметно возросшие навыки в обработке камня говорят о наметившемся разделении труда и, возможно, о занятии ремеслом в течение всей жизни.

Итак, палеолитический человек отнюдь не утратил смелости и, по-видимому, во многих отношениях даже преуспел: ведь, овладев искусством охоты, он начал получать больше протеинов и жиров, чем он мог получить при прежнем, более скудном, рационе. Скелеты рослого ориньякского человека, подобно телосложению современных акселератов, свидетельствуют о том, что его «меню» обогатилось. Проявляя изрядную изобретательность и согласованность при сооружении западнёй или ям для крупного зверя, устраивая или обращая себе на пользу лесные пожары, пугавшие большие стада, совершенствуя каменные

орудия — так, чтобы протыкать ими крепкие шкуры, которые невозможно было пронзить прокаленными на огне наконечниками копий, — и, несомненно, извлекая выгоду из зимних холодов для сохранения заготовленного мяса, эти новоявленные охотники как никогда раньше покорили природное окружение и даже, благодаря дополнительным запасам жира, приспособились к длинным зимам. И хотя такое существование было чрезвычайно тяжёлым, а жизнь — скорее всего, довольно короткой, у человека всё-таки оставалось время на размышления и изобретения, на ритуал и искусство.

И здесь опять-таки, рискуя впасть в тенденциозное преувеличение, я должен отметить, что чрезмерное сосредоточение на каменных орудиях отвлекло внимание от других сфер технического воздействия человека: обработки кожи, жил, волокон и дерева, — и, в частности, помешало по достоинству оценить один выдающийся вид оружия, изготовление которого началось в этих условиях, — оружия, свидетельствующего о развитой способности к абстрактному мышлению. Ибо приблизительно тридцать — пятнадцать тысяч лет назад палеолитический человек изобрёл и усовершенствовал лук со стрелами. Это оружие, пожалуй, и стало первой настоящей машиной.

До той поры орудия и оружие человека являлись лишь продолжением его собственного тела — как, например, дротик, или имитацией специального органа какого-то другого существа, как бумеранг. Однако ничего, похожего на лук со стрелами, в природе нет: это столь же странное, столь же своеобразное порождение человеческого ума, как, скажем, корень квадратный из минус единицы. Это оружие — чистая абстракция, перенесённая на физическую форму; но одновременно оно было обязано своим существованием «трём китам» первобытной техники: дереву, камню и звериным жилам.

Итак, существо, которое додумалось использовать потенциальную энергию тетивы, чтобы пускать маленькое копьё (стрелу) на расстояние, превышающее обычный отрезок, пролетаемый брошенным орудием, — уже достигло нового уровня мышления. Это был шаг вперёд по сравнению с более простым устройством, стоящим на полпути между орудием и машиной, — дротиком. Вместе с тем, такая комбинация паза и метательного копья была столь эффективной, что, как заметил капитан Джеймс Кук, на расстоянии ста пятидесяти футов оказывалась более точной и смертоносной, чем его собственные мушкеты.

Эти технические усовершенствования шли бок о бок с подобными же успехами в искусстве, хотя в последнем случае с подготовительными стадиями обстоит неясно, ибо появляются умело вылепленные фигуры как будто внезапно — из загадочного «ниоткуда», которое по-прежнему не поддаётся адекватному описанию. Исходя из самой природы этих успехов, можно по справедливости заключить, что в древнейшем искусстве языка происходили ещё более решительные сдвиги к лучшему, возникали те тончайшие оттенки значений событий во времени и пространстве, которые имеются в языках более поздних эпох. Первый музыкальный инструмент — дудка, или свирель, обычно связываемая с именем Пана, — появляется в росписи мадленского периода, где изображена весьма «паноподобная» фигура — то ли волшебник в маске, то ли вымышленное создание, получеловек-полуживотное, как и сам Пан. Но кто знает, когда впервые изобрели тростинки, издающие мелодичные звуки?

«Укване достал свой лук и, упёрши один его кончик в засохшую дынную корку, принялся водить камышинкой по тетиве, извлекая звук». Этот образ, взятый из замечательной книги о бушменах, на которую я ссылаюсь и раньше, свидетельствует о весьма раннем взаимодействии искусства и техники: он уводит нас к тем временам, когда Прометей и Орфей были близнецами — почти сиамскими близнецами. Можно высказать догадку (пусть и сомнительную), что вначале лук использовался как музыкальный инструмент, и лишь потом звенящая струна навела людей на мысль о многих других своих предназначениях — в качестве оружия охоты или же инструмента, вызывающего вращательное движение трута. Тогда эта гипотетическая история лука должна заканчиваться возвращением к исходной точке в последних изысканных усовершенствованиях кремонской скрипки.

Лук со стрелами может послужить исконной моделью для многих позднейших механических изобретений, облакавших человеческие потребности — но не всегда естественные склонности — в отделяемые, специализированные, отвлечённые формы. Как и язык, ключевая идея «отделяема». С другой стороны, оперение стрелы, обеспечивающее точность попадания, возможно, объяснялось изначальным магическим отождествлением летящей стрелы с крыльями живой птицы. Вот один из тех многих случаев, когда магическое мышление зачастую сбивало людей с пути тем, что иногда действительно «срабатывало». Но между изобретением лука и позднейших видимых машин, вроде гончарного круга, прошло, по-видимому, около десяти или двадцати тысяч лет.

Тем временем усовершенствование орудий и изготовление различных предметов помогало ремесленникам палеолита в трёх отношениях. Во-первых, регулярность затрачиваемых усилий оборачивалась неким порядком по сравнению с чересполосицей жизни охотника. Во-вторых, неподатливость твёрдых материалов вынуждала древних мастеров ближе знакомиться с природной средой, так как они понимали бессилие одного лишь чисто субъективного желания или магического ритуала, не сопровождающегося разумным подходом и физическими усилиями: требовалось и то, и другое. И в-третьих, возросшая ловкость палеолитического человека повышала его уверенность в себе и приносила немедленное вознаграждение — не просто удовольствие от работы, но и сам произведённый предмет — его собственное творение.

Теперь, когда я уже достаточно задержался на застывшем представлении о древнейшем хозяйстве человека, пора отдать должное той положительной роли, которую действительно играл камень с весьма ранней стадии человеческого развития. Камень выделялся среди всех прочих элементов среды собственными отличительными свойствами — своей твёрдостью и прочностью. Реки могли менять своё течение, большие деревья, если в них ударяла молния, рушились или сгорали, — зато обнажения каменных пород оставались самыми долговечными урочищами в изменчивом пейзаже. На протяжении всей человеческой истории камень служил и средством, и символом целостности; а сами его твёрдость, цвет и текстура, по-видимому, зачаровывали и притягивали древнего человека. Возможно, поиск камней шёл бок о бок с собирательством, ещё задолго до того, как человек распознал и стал искусно применять такие камни, как кремень и обсидиан, особенно ценные для изготовления орудий.

Разработка кремневых месторождений и изготовление каменных орудий впервые привило человеку вкус к систематическому, непрерывному труду. То, что долбить камень киркой — это занятие, требующее огромных мышечных усилий, я убедился сам, когда в 1918 году меня призвали во флот: одним из первых моих заданий было вгрызаться в кремневый холм на нашей островной военной базе в Ньюпорте на Род-Айленде. Даже стальная кирка ненамного облегчала этот каторжный труд: так что, вполне вероятно, древнему человеку требовалось призывать себе на помощь вселяющую надежду магию для выполнения столь изнурительной работы. Правда, усилия вознаграждались появлением своеобразной мужской гордости — гордости, которая длительное время до появления автоматизации) была свойственна всем горнякам.

Отчасти благодаря обработке камня древний человек научился чтить «принцип реальности» — необходимость упорных и напряжённых усилий для достижения отдалённой награды, — в отличие от принципа удовольствия, предписывающего повиноваться мгновенному импульсу и ожидать немедленного вознаграждения, не прилагая особых усилий. Если бы палеолитический человек оказался столь же равнодушным к камню, сколь долго цивилизованный человек оставался равнодушен к своему органическому окружению, то сама цивилизация никогда бы не получила развития, ибо, как мы вскоре увидим, она изначально была порождением каменного века, созданным с помощью каменных орудий человеком с каменным сердцем.

5. Охота, ритуал, и искусств

За великолепными ремесленными навыками и выразительным искусством, характерными для последних фаз палеолитической культуры, стоял образ жизни, обусловленный преобладанием охоты на крупную дичь. Для такой охоты требовались коллективная стратегия и большее число следопытов, загонщиков и убивающих; а это уже предполагает существование племенного или родового устройства общества. Одиночным семейным группам, насчитывавшим менее пятидесяти человек, из которых взрослые мужчины составляли лишь меньшинство, едва ли под силу была подобная задача. В ледниковом периоде такая охотничья жизнь неизбежно зависела от передвижений крупных стад, искавших новые пастбища; вместе с тем, люди уже приучились селиться вблизи удобных урочищ: рек, источников, лугов, летних пастбищ, даже пещер и, наконец — уже на закате палеолита — в деревушках, где строились хижины.

Если любопытство, хитрость, приспособляемость, привычка к повторению являлись, наряду с общительностью, главными достоинствами древнего человека, то жившему в более позднюю эпоху палеолитическому охотнику требовались дополнительные качества: смелость, воображение, ловкость, готовность к столкновению с неожиданным. В критический момент охоты, когда разъярённый буйвол, уже раненный, набрасывался на охотников, обступавших его плотным кольцом, — только умение действовать сплочённо, слушаясь приказа самого опытного и смелого охотника, помогало избежать увечья или внезапной гибели. Аналогов подобным ситуациям не было ни в собирательстве, ни даже в позднейших способах ведения неолитического сельского хозяйства.

Пожалуй, ближайшим современным эквивалентом охоты на крупную дичь в палеолитические времена была охота на другое крупное млекопитающее — кашалота, — которого промышляли сто с лишним лет назад. Чтобы излишне не напрягать своё воображение, можно обратиться к роману Мелвилла «Моби Дик», на страницах которого даются прекрасные параллели психологическим и социальным реалиям палеолитической охоты. В обоих случаях для успеха предприятия были необходимы настойчивость в преследовании, несгибаемая отвага и умение предводителя отдавать приказы и добиваться повиновения; кроме того, молодость здесь ценилась, должно быть, выше, чем возраст и опыт. Руководство и верность, эти главные ключи к военному успеху и крупномасштабным объединениям, играли наиболее важную роль в среде охотников. В более поздние времена оба эти качества значительно помогут развитию техники.

Из этой-то культурной совокупности главный персонаж — вождь-охотник — и шагнул наконец на сцену исторических времён, найдя отражение в эпосе о Гильгамеше и в надгробной «охотничьей плите» додинастического Египта. Как мы вскоре увидим, сочетание беспрекословной покорности ритуалу (древнейшей и глубоко въевшейся черты) с ликующей самоуверенностью, с азартной отвагой и, не в последнюю очередь, с несколько дикарской готовностью пожертвовать жизнью, послужили наиболее важными предпосылками первого великого достижения в области техники — создания коллективной человеческой машины.

В отличие от собирательства, охота несла в себе коварную угрозу наиболее мягкой, родительской, покровительственной стороне человеческой природы: это необходимость убийства как периодически возобновляемого занятия. Копье или стрела с каменными наконечниками, способные достигать цели и на большом расстоянии, и вблизи, расширили диапазон убийства и, по-видимому, впервые пробудили в человеке тревожные опасения относительно их действия. Скорее всего, палеолитический человек питал священный страх даже перед пещерным медведем, которого выгонял из укрытий и чьё мясо ел, как и перед другими более поздними тотемными животными. Нередко черепа таких животных обнаруживали размещёнными в определённом порядке, словно они служили предметами культа. Подобно тому, как это делают по сей день некоторые охотничьи племена, палеолитические охотники, наверное, просили прощения у убитых существ, оправдывая свою жестокость голодом, и ограничивали убийство лишь тем количеством мяса, которое было необходимо для насыщения. Прошли тысячелетия, прежде чем человек додумался хладнокровно убивать себе подобных, даже не нуждаясь в предлоге — будь то магическом или каком-то ином, — будто ему нужно поедать их.

Вместе с тем, сама необходимость выказывать всё больше грубых мужских качеств могла вылиться, согласно интерпретации Юнга, в разрастание женской составляющей в мужском бессознательном. Так называемые богини-матери в палеолитическом искусстве, возможно, отображают инстинктивное стремление охотника уравновесить обусловленную его промыслом чрезмерную сосредоточенность на убийстве повышенной отзывчивостью на сексуальное удовольствие и покровительственной нежностью. Когда мой сын Геддес служил в армии, он заметил, что самые уродливые и толстокожие солдаты в его роте часто очень любили детей: вот компенсация того же рода.

Систематическое убийство крупной дичи оказывало, вероятно, и ещё одно воздействие на палеолитического человека: он сталкивался со смертью, причём не просто очень часто, а практически каждый день своей жизни. В той мере, в какой он, наверное, отождествлял себя с жертвой, он поневоле сознавал, что когда-нибудь придётся умереть ему самому, его семье, его сородичам и соплеменникам.

Возможно, здесь, вновь под воздействием сновидений, и зародились окольные попытки человека продлить себе жизнь в воображении. Он стал верить в то, что мёртвые, пусть они физически и устранились из этого мира, всё-таки в каком-то смысле продолжают жить, наблюдать, вмешиваться и подсказывать — порой благосклонно, служа нам источником мудрости и утешения; однако довольно часто духи умерших, полные злобы, преследуют нас в сновидениях, и тогда их нужно изгонять или умилостивлять, чтобы они не причинили несчастья. Вероятно, всевозможные мемориалы в скульптуре и живописи, впервые расцветшие в настоящее время, явились намеренными попытками перехитрить смерть. Жизнь прекращается, зато образ остаётся — и помогает жить другим.

Большая часть палеолитического искусства сохранилась в пещерах; и судя по некоторым живописным изображениям и изваяниям, найденным там (около десяти процентов от общего количества), у нас есть основания связывать произведения искусства с магическими ритуалами для успешной охоты. Однако художники, создававшие эти изображения в чрезвычайно тяжёлых условиях, не пугаясь грубых поверхностей, а порой и обращая себе на пользу их очертания, должны были прежде достичь такого мастерства где-то за пределами пещерных стен. Подтверждение такому взгляду приводит Лео Фробениус, наблюдавший за группой африканских пигмеев. Однажды, когда он предложил поохотиться на слона, те сослались на неблагоприятные условия и отказались. Но на следующее утро он обнаружил, что охотники собрались в укромном месте. Начертив на очищенной поверхности земли фигурку слона, они стали пронзать её копьями, одновременно повторяя магические заклинания. Только после этого они были готовы к охоте.

Это удачное свидетельство проливает свет на некоторые стороны палеолитического искусства и ритуала. Охота в условиях палеолита не была беспорядочной погоней за пищей: она требовала предварительного обдумывания, тщательно разработанной стратегии, глубоких — графически передаваемых — знаний анатомии намеченного в жертву зверя: знаний, подобных тем, что отразились в иллюстрациях к Везалию и предвосхитили успехи хирургии и медицины уже в нашу собственную эпоху. Как указал Соллас, схожий магический ритуал можно найти у североамериканских индейцев-оджибуэев: там шаман рисовал на земле животное, намеченное для охоты, и обозначал ярко-алым пятном его сердце (как это часто встречается и в наскальных изображениях в европейских пещерах), и прочерчивал линию от сердца до рта животного: вдоль этой черты должно было потечь волшебство, чтобы заклясть его смерть. Сюда же относится случай с Джорджем Кэтлингом, которого индейцы племени мандан приветствовали как врача, потому что его рисунки «приводили бизонов».

«Недавно, — сообщает Фернанд Уинделс в своём исследовании пещер Ласко, — этнологи провели несколько месяцев в глуши Австралии среди туземного племени и вернулись с отснятыми там фильмами. В одном из них показывается, как один австралиец, вождь

племени, расписывает стены своей пещеры... Это зрелище поистине исключительное. В кадре мы видим не художника за работой, а жреца или колдуна за священнодействием. Каждый свой жест он сопровождает песней и ритуальной пляской, и им отведено гораздо более важное место во всей церемонии, чем собственно росписи».

Если, как я доказывал выше, танец, песня и язык вышли из ритуала, то, быть может, то же самое произошло и с живописью: изначально все искусства являлись священными, поскольку человек прилагал необходимые усилия и шёл на жертвы ради эстетического совершенства только для того, чтобы достичь единения со священными силами. С этой целью связывались такие действия, как танец, ритуал и графические движения, которые, вероятно, объясняют таинственные рисунки, напоминающие макароны, на стенах разных пещер: эти абстрактные изображения могли быть побочными продуктами ритуальных телодвижений — таким образом запечатлённых на стенах, как их сейчас возможно запечатлеть на киноплёнке.

Если охотник совершал магический ритуал, то оттого, что самим его совершением он обретал и знание, и ловкость, необходимые для того, чтобы успешно выполнить свою задачу. Та чёткость линий, которую мы видим в изображениях бизонов в Альтамире или оленей в Ласко, говорит о прекрасной сенсорно-мускульной координации, а также об острейшей зоркости к мельчайшим деталям. Охота — как известно каждому, кто охотился хотя бы раз в жизни, — требует высочайшей степени зрительной и слуховой чуткости к малейшим движениям в листве или траве, а также готовности мгновенно реагировать. То, что мадленский охотник достиг такой степени сенсорной живости и эстетического напряжения, следует не только из необычного правдоподобия его крайне отвлечённых изображений, но и из того факта, что многих животных он изображал в движении. Это гораздо более высокое достижение по сравнению со статичными символическими формами. Одной из целей создания реалистичного изображения животного было «поймать» его, а наибольший триумф заключалась как раз в том, чтобы поймать его в движении — и тут проходила высочайшее испытание ловкость охотника в обращении с асеегом или луком и стрелами.

До сих пор, говоря о портретах, мы употребляем выражение «верно пойманное сходство». Однако это искусство было не просто средством практической магии: оно и само по себе являлось высшей ступенью магии, столь же чудесной, как магия слов, но ещё более потаённой и священной. Подобно внутреннему пространству самой пещеры с её сводами и стенами, созданными силами природы и внушившими человеку первые смутные представления о возможностях символической архитектуры, — эти образы приоткрывали дверь в мир цвета и формы, выходивший за эстетические рамки природных предметов, ибо этот мир включал в себя как неизбежный элемент и собственную личность человека.

Может быть, это было не просто магическое и священное искусство, но нечто большее — тайный культ, ведомый отнюдь не всем членам племени? Физическая трудность доступа к пещерным пространствам с расписанными стенами, где порой приходится осторожно передвигаться ползком, возможно, указывает на прохождение некоего инициационного обряда. Быть может, это был осознанный выбор верхушки общества, которая в замкнутом пространстве пещеры нашла себе идеальное место для обучения искусству сотворения

образов (ранний прообраз и аналог эзотерического языка и запретного храмового святилища)? Быть может, смутные воспоминания о тёмной полости пещеры всплыли в головах тех, кто соорудил потайной коридор, уводивший в погребальную камеру в недрах египетской пирамиды?

Всем этим вопросам суждено остаться без ответа; однако важно, чтобы мы не прекращали задавать их себе, иначе мы слишком быстро отвернёмся от тех положительных свидетельств, которые могут нам что-нибудь подсказать в будущем.

Кое-что, напоминающее о такой пещерной скрытности и потаённости, вплоть до нашей десакрализованной современной культуры, обычно присутствовало при всех значимых событиях жизни — таких, как рождение, акт любви, посвящение в различные возрастные стадии и наконец смерть. А если поймать сходство означало обрести власть над душой, как по сей день верят многие примитивные народы, то это, пожалуй, объясняет тот факт, что в наскальной живописи практически нет человеческих лиц, хотя иногда и изображались удлинённые тела с масками или птичьими головами. Этот «пробел» объясняется отнюдь не отсутствием мастерства, а, скорее, страхом нечаянно причинить вред изображённому человеку. О том, насколько глубоко въелся такой страх перед воспроизведением реального образа, мне напомнили угрожающая гримаса и протестующие жесты гавайского туземца, которого я однажды фотографировал с приличного расстояния на рынке в Гонолулу.

Значение палеолитического искусства отнюдь не исчерпывается связью некоторых (но не всех) образцов пещерной живописи с магическим ритуалом. В своём всеохватном исследовании пещерного искусства, столь же богатом свидетельствами, сколь и изобилующем свежими гипотезами и трезвом в суждениях, Андре Леруа-Гуран, исходя из характера и расположения изображений и знаков, убедительно доказывает, что пещерные художники пытались сформулировать свои новые религиозные воззрения, основанные на полярности мужского и женского начал. Безусловно, эти изображения служили не только практическим целям — воспроизведению дичи и обеспечению удачной охоты. В чём можно почти не сомневаться, говоря об искусстве, созданию которого сопутствовало столько трудностей, — это в том, что источником наскальной живописи являлись верования главной важности, казавшиеся гораздо существеннее для развития человека, нежели насущное пропитание и телесное благополучие. Лишь в поисках некоей более значимой жизни человек проявлял подобное усердие или безо всяких сожалений шёл на подобные жертвы.

С появлением скульптуры на сцену выдвинулся другой интерес и, возможно, получила выражение другая функция. Здесь смелая трактовка человеческого тела — включая женские обнажённые фигуры, не имевшие себе равных вплоть до египетской эпохи, — указывает на существование некоей домагической культуры. Даже в случае пещерной живописи я отнюдь не уверен (в отличие от некоторых истолкователей) в том, что изображения предположительно беременных животных безусловно являются только попытками обеспечить — путём какой-то сочувственной магии — большую добычу. Такое объяснение не очень согласуется со свидетельствами о необычном изобилии этих животных, число которых было столь велико, что маленькому охотничьему населению не под силу было бы его истребить. Однако в скульптуре нашли отражение совсем иные интересы и чувства:

резные изваяния стоящих друг напротив друга каменных козлов, найденные в Ле Рок-де-Сер, едва ли символизируют что-то иное, кроме самих себя; а «Венера» из пещеры Лоссель — это женщина с головы до пят. Может быть, скульптура представляла собой плоскость повседневного существования, тогда как живопись стояла ближе к сновидению, магии, ритуалу?

Всё, что мы можем с уверенностью сказать об этой фазе человеческого развития, — это то, что охота служила подходящим посредником для становления изобразительных искусств. И наконец-то перегруженная нервная система человека обрела сферу приложения, достойную её возможностей. Опасности при охоте на крупную дичь породили новое энергичное и уверенное в себе поколение людей — с быстрой эмоциональной реакцией, готовым запасом адреналина, подстёгиваемого страхом, возбуждением и яростью, а главное — с отличной координацией движений, которая оказалась чрезвычайно ценна не только для убийства животных, но и для живописи и резьбы по камню. Теперь нашли применение оба вида ловкости, оба вида чуткости.

Поэтому, с одной стороны, крупномасштабная охота требовала от человека подвигов мышечной силы и порождала некую «хирургическую» жёсткость взгляда на причинение боли и лишение жизни, а с другой стороны, заметно возрастало эстетическое чутье и расширялся диапазон чувств, что служило прелюдией к дальнейшему развитию символических способов выражения. Такое сочетание отнюдь не является чем-то необычным. То, что привычка к жестоким убийствам порой соседствует с крайней эстетической утончённостью, нам известно из длиннейшего ряда исторических примеров, тянущегося от Китая к ацтекской Мексике, от Рима времён Нерона до Флоренции эпохи Медичи. Не следует забывать и о нашем недавнем прошлом, когда у входа в нацистские лагеря смерти красовались аккуратные и ухоженные цветочные клумбы.

Сколь бы тяжела и азартна ни была охотничья жизнь, она высвобождала воображение и обращала его к искусствам: прежде всего, если судить по дошедшим до настоящего времени хрупким свидетельствам, этому воображению была присуща повышенная сексуальность, одарившая нас множеством изображений обнажённых женских форм, причём интерес художника сосредоточивался на половых органах, грудях, ягодицах: во многих изваяниях, помимо знаменитой «Венеры» из Виллендорфа, все эти части тела предстают увеличенными и как будто распухшими.

Обычно такие фигуры называют «богинями-матерями», и многие этнологи полагают, что они служили предметом религиозного поклонения. Однако придерживаться такого суждения — значит приписывать весьма ранним культурам то значение, которое будут иметь подобные фигуры уже в гораздо более позднюю эпоху. Единственный однозначный вывод, который здесь можно сделать, — это то, что возникло повышенное внимание к полу, а также появилось сознательное стремление удержать его с помощью символических изображений, чтобы продлить его действие на ум, а не дать ему раствориться без остатка в немедленном совокуплении. Сексуальным актом, этим древнейшим способом человеческого общения и взаимодействия, отныне творчески управлял разум.

Поскольку изображения мужского фаллоса иногда находят в тех же пещерах, что и изображения женских форм с отверстым лоном (нечто подобное можно и сегодня увидеть в индуистских храмах), у нас имеются основания подозревать, что там совершались ритуалы, призванные пробудить, расшевелить и усилить интерес к полу; возможно, там проводились даже вполне определённые групповые инициации и наставления, как это распространено почти у всех примитивных народов. Вероятно, дополнительное поощрение половой активности было необходимой мерой в суровом климате, где долгие зимы и вынужденное бездействие, порой сопровождавшееся скудным рационом, оказывали на человека обычное действие холода и голода — гасили сексуальное влечение и снижали потенцию. Так как мужские и женские фигурки находили вперемешку, можно смело оспорить версию о «богине-матери»: ведь фигурки настолько малы, что их можно было носить с собой повсюду, — так что они служили скорее личными амулетами или оберегами, нежели объектами группового культа.

Здесь мы сталкиваемся с противоречием общества с ярко выраженным мужским характером, где женщине не находилось иных занятий, кроме второстепенных: например, разделывать мясо, готовить пищу, дубить кожи; вместе с тем, особые функции и возможности женщины, её способность к сексуальной игре, воспроизведению потомства и воспитанию детей превозносились настолько, что область пола становилась притягательной, как никогда прежде. И скульптура, и многие сохранившиеся украшения — от раковин до оленьих ожерелий — указывают на разнообразные попытки подчеркнуть женскую телесную красоту и усилить сексуальную привлекательность. Это был дар, полностью воспользоваться которым человек смог лишь в ту пору, когда новая совокупность технических изобретений, относящихся к одомашниванию животных, отодвинула охоту на задний план.

Такое мнение о творческом преобразовании искусства и половой сферы, сопровождавшем совершенствование оружия и техники коллективной охоты, подкрепляется и самим фактом необычно широкого распространения женских фигурок, относящихся к данной эпохе. Как указывает Грэм Кларк, один и тот же тип фигур с ярко выраженными сексуальными формами встречается среди находок на территории от Франции и Италии до южнорусских равнин — «чаще всего из бивня мамонта или различных видов камня», но также из обожжённой глины — в Чехословакии. «То, что все эти изваяния определённого происхождения, — отмечает Кларк, — были найдены в поселениях, будь то в пещерах или на месте искусственных построек, — говорит скорее в пользу их домашнего употребления, нежели общественного или торжественного назначения». Однако, опираясь на разные исторические свидетельства от Урарту до Рима, я бы добавил, домашний характер жреческих функций, отправлявшихся главами семейств, явно не исключает церемониального назначения скульптур. В ортодоксальных иудейских семьях отец семьи по сей день исполняет подобную роль.

Наряду с этой символической сосредоточенностью на половой жизни, появляются первые свидетельства о том, что центром оседлой жизни становится очаг и дом: это была мутация охотничьей культуры, сделавшаяся преобладающей формой существования на последующих стадиях неолитической культуры и с тех пор навсегда утвердившаяся среди большинства народов. А для дальнейшего развития техники имел значение и тот факт, что

впервые не считая самого очага) глина была использована как сырьё для искусства — вспомним бизонов в пещере Тюк-д'Одубер — за тысячи лет до засвидетельствованного возникновения гончарного дела. Разгадка здесь проста: палеолитический человек начал одомашнивать себя самого раньше, чем он стал одомашнивать растения и животных. Это был первый шаг — наряду с ритуалом, языком и косметикой, — который помог изменить человеческую личность.

И здесь, как раз в той точке, где символические искусства объединяются и дополняют друг друга, Homo sapiens — Человек Познающий и Постигающий, — предстаёт в той роли, которая характерна для всей его позднейшей истории: он теперь не просто уныло борется за существование, хватая и собирая, изготавливая орудия и охотясь, но уже отчасти отстраняется от этих животных потребностей — танцует, поёт, играет, рисует, лепит, жестикулирует, гримасничает, подражает, разговаривает — разумеется, разговаривает! — и, возможно, впервые смеётся. Именно смеху, а не орудиям, предстоит отличать человека и утверждать его господство.

Словно евангельский Лазарь, человек позднего палеолита окончательно выбрался из пещерной могилы предсознательного существования, и у него имелись все основания смеяться. Его ум, постепенно освобождавшийся из-под гнёта грубой необходимости, тревоги, сновидческой пелены, панического страха, обрёл всю свою живость. Когда человек стал полновластным господином слов и образов, ни одна часть его мира, будь то внутреннего или внешнего, одушевлённого или неодушевлённого, уже не находилась всецело за пределами его умопостижения. Человек наконец усовершенствовал своё творение — символ, опираясь на который, его высокоорганизованный мозг мог работать напрямую, обходясь без иных орудий, кроме тех, что предоставляло ему собственное тело. Что касается мадленских пещер, то они представляют собой доказательство ещё более общих и многосторонних достижений в возведении символического мира.

Эти дарования были разрозненны и неравномерно распределены; и они продолжали развиваться неравномерно, так что ни одно обобщение, сделанное о «Человеке», нельзя отнести к человеческому роду в целом, ко всем временам и всем краям: это было бы далеко не верно. Вместе с тем, каждый новый шаг в символотворчестве оказывался столь же поддающимся передаче и сообщению, как и всё генетическое наследие, связывающее человечество воедино; а общественная по преимуществу природа человека сделала так, что со временем ни одна группа населения, сколь бы малочисленна, далека или обособлена она ни была, не могла быть полностью отрезана от этого общего для всех людей культурного наследия.

6. Вокруг огня

Нельзя воздать должное достижениям палеолитического человека, не вспомнив под конец о том главном открытии, которое стало залогом его выживания после того, как он утратил свой прежний косматый облик: это использование и поддержание огня. Наряду с языком, это считается уникальным техническим достижением человека, равного которому нет ни у одного другого биологического вида. Другие животные используют орудия, строят жилища,

запруды, мосты, роют тоннели, плавают, летают, совершают ритуалы, живут семьями и воспитывают потомство; и даже — как это случается у муравьёв с их чётким общественным строем — воюют с противниками, одомашнивают другие виды и выращивают сады. Но лишь один человек отважился затеять игру с огнём: так он научился заигрывать с опасностью и обуздывать собственные страхи; должно быть, оба этих умения необычно укрепили его уверенность в себе и господство над окружающим миром.

В ледниковый период существовало много условий, замедлявших умственную деятельность: постоянные угрозы голодной смерти, утомление от чрезмерной физической активности и оцепенение от холода, которое приводит к умственной медлительности и сонливости. Но огонь спасал человека, пробуждал его, а впоследствии и помогал ему строить общество. Кроме того, обретя власть над огнём, это голое существо сделалось свободным от своего исконного тропического окружения. В центре его жизни теперь находился очаг; а когда появились начатки языка, то он, несомненно, принялся совершенствовать искусство речи, ведя нескончаемые беседы и рассказывая истории вокруг костра. Это древнее искусство растрогало Скулкрафта, любознательного протоантрополога, когда тот оказался у бивачного костра в гостях у индейцев, которых прежде воображал угрюмыми, грубыми, свирепыми — и молчаливыми. Простое ли это совпадение, что культурные очаги, где сегодня обнаруживают первые следы «неолитического» оседлого жилья, находятся в горных районах Палестины и Малой Азии, где некогда в изобилии произрастали леса — запасы топлива?

Начиная с огня, большая часть предметов и приспособлений, необходимых для обеспечения дальнейшего развития человека (за исключением приручённых животных и окультуренных растений) уже существовала до того, как последняя фаза ледникового периода подошла к концу — приблизительно около 10 000 года до новой эры. Пора подвести итог этим преимущественно палеолитическим изобретениям, прежде чем переходить к неолитической стадии одомашнивания, расширившей их диапазон и восполнившей их недостатки.

Если мы возьмём материальную сторону, то найдём: верёвки, ловушки, сети, кожаные мехи, светильники, возможно, корзины, наряду с очагами, хижинами, дереvушками; затем следуют различные специализированные орудия, в том числе хирургические инструменты, разные виды оружия, краски, маски, живописные изображения, графические знаки. Однако куда важнее этого арсенала материальных изобретений было устойчивое накопление носителей смысла, общественного наследия или традиции, которые находили выражение в каждом способе бытования ритуала, обычая, религии, общественного устройства, искусства — и, прежде всего, языка. К мадленской эпохе умы высшего порядка не только уже существовали, но и породили культуру, благодаря которой дотоле не раскрытые возможности могли обрести воплощение и применение.

Делая обзор палеолитической техники, я стремился уравновесить существующий чрезмерный упор на орудия и оружие как таковые, сосредотачиваясь скорее на том образе жизни, который они помогли сформировать. Суровые условия, в которых приходилось действовать палеолитическому человеку по крайней мере, в северном полушарии), как представляется, усиливали реакцию человека и увеличивали дистанцию, отделявшую его от прежнего животного состояния: тяжкие испытания не сломили, а закалили его.

При таких обстоятельствах страхи, тревоги и внезапные прорывы фантазии, которые я отнёс к атрибутам «далёкого прошлого, похожего на сон», возможно, были уменьшены до вполне обозримых размеров — подобно тому, как невроты многих лондонцев, по свидетельству психиатров, практически исчезли во время массивной бомбардировки. Люди нередко достигали вершины своих возможностей в условиях стресса и физической угрозы: буря, землетрясение, сражение способны пробудить в нас такую энергию и побудить нас к таким проявлениям самоотверженной храбрости и самопожертвования, каких не приходится ждать при более или менее благополучном образе жизни. Было бы странно, если бы некоторые из качеств, избирательно сохранённые палеолитическим человеком, не составляли и сейчас части нашего биологического наследия.

Версия #1

Зверобой создал 15 января 2026 23:15:04

Зверобой обновил 15 января 2026 23:19:31